

Райнхарт Козеллек

СЛУЧАЙНОСТЬ КАК ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ ИСТОРИОГРАФИИ

Reinhart Kosellek. Der Zufall als Motivationsrest in der Geschichtsschreibung. In: Reinhart Kosellek. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1979.

© Suhrkamp Verlag, 1979.

Перевод Т.И.Дудниковой

I

Говорить о месте случайности в исторической науке трудно, поскольку у нее в историографии своя собственная, еще не написанная история. Несомненно, понятие "случайность" может быть удовлетворительно объяснено лишь с учетом всего понятийного арсенала, который используется для интерпретации истории. Так следовало бы поставить вопрос о противоположном понятии, которое исключает случайность, или понятии более высокого ранга, которое ее релятивирует. Раймон Арон, например, начинает свое "Введение в философию истории" позаимствованной у Курно антитезой между "ordre" – порядком и "hasard" – случаем, чтобы заявить: "Исторический факт по сути не сводим к порядку: случай – основа истории" (Aron, 1948, p.20). Если придерживаться естественнонаучной причинно-следственной модели, случайность действительно предстает как сущность всей истории, но следует заметить, что подобная постановка вопроса возможна лишь для определенных исторических периодов. В исторической теории познания Арона упомянутая выше антитеза размывается, а вместе с тем преобразуется и понятие случайности. Он показывает, что, в зависимости от точки зрения наблюдателя, событие может выглядеть как случайное или неслучайное. При этом сомнительное противопоставление необходимости и случайности снимается и в историографическом смысле. При взгляде на одну совокупность заданных условий событие может предстать как случайное, при взгляде на другую совокупность – как необходимое. Этой же позиции придерживается известный историк Карр. Случай у него становится понятием, содержание которого зависит от точки зрения (Carroll, 1964, p.96ff.). При этом, возможно, достигается такая ступень рефлексии, которая методологически блокирует понятие случайности. Но это никоим образом не разумеется само собой, и никогда не разумелось.

Во временном аспекте категория случая полностью принадлежит настоящему. Ее нельзя ни вывести из горизонта ожиданий – разве что как внезапное его нарушение, – ни постигнуть как следствие прошлых причин: тогда это уже не была бы случайность. Поскольку историография видит свою задачу в прояснении взаимозависимостей, складывающихся во времени, для случайности не находится места. Но тем самым эта категория еще не оказывается неисторической. Напротив,

случайность годится, чтобы описывать нечто поразительное, новое, непредвиденное в истории. Так, в основании некой взаимосвязи первоначально может лежать случай. Категория случайности может быть использована для заполнения пробелов при объяснении непрочных взаимосвязей. Везде, где историография проявляет интерес к случайности, мы обнаружим недостаточность данных и несоизмеримость их со следствиями. Именно в этом может содержаться специфически историческое.

Особенностью современной исторической методике несомненно является стремление по возможности обходиться без случайности. Напротив, вплоть до XVIII в. было принято привлекать случай, или удачу в облачении Фортуны, к объяснению истории. У этой практики долгий и изменчивый путь, лишь отдельные общие черты которого обозначены здесь¹. Фортуна была одной из немногих языческих богинь, перенесенных в христианскую картину истории. Богиня удачи привнесла в исторический опыт христианства противоречивость, которую Августин высмеивал со свойственной христианскому "Просвещению" горькой логикой: "Где определение Фортуны? Где то, что даже имя получило от случайностей? Нет никакой пользы в почитании ее, если существует случай" (Августин, 1906, IV, 18). Его установка заключалась в том, чтобы случайные события выводить по отдельности из воли Бога, и тогда Фортуна исчезала из чисто христианского исторического опыта. Так, если Отгон Фрейзингенский приводит примеры случайности (и он делает это часто), то лишь затем, чтобы объяснить их как результат божественного провидения². Как раз их непостижимый на первый взгляд характер указывает на скрытый промысел Божий. Фортуна опосредована теологически и тем самым снята.

Если Фортуна все же была принята христианизирующим миром, будь то в народной вере или же в наследии Бозэция, то, несомненно, потому, что ее место в повседневности или в рамках истории не могло просто остаться незанятым. Ибо во всей своей многозначности – от случая, через "удачу" и до счастливой или несчастной судьбы – Фортуна являлась необходимым структурным элементом для изложения отдельных историй (Lammers, 1961, S.123, 133, 154). Она указывала на постоянство изменений, трансперсональную модель события, которая ускользает из-под власти людей. Как бы ни соотносились с Фортуной благочестие или вера, независимо от того, связывается ли она с божественным проведением или – позднее – отделяется от Бога, Фортуна всегда оставалась индикатором смены времен, меняющихся обстоятельств, которые сильнее, чем воплотившиеся в действия планы людей (Zincgref, 1666, S.XCIV; Zedler, 1735, S.1545ff).

В таком широком смысле христиане и гуманисты сходились на восприятии Фортуны как "дочери провидения" и "матери случая" (Gracian, цит. по Jansen, S.191ff). Унаследованная христианским пониманием истории от Бозэция метафора "вращающегося колеса" (Бо-

¹ Ср. работы, берущие свое начало от школы Хуго Фридриха: Heitmann, 1958; Jansen, 1958, и указанную в них более раннюю литературу. Далее: Pickering, 1966, SS.112 ff; Köhler, 1973.

² Otto von Freising, 1960, S.10, 92 (редкий случай, когда речь идет о "мирской" Фортуне, а не о fortuitis casibus), 130, 210, 290, 446.

эций, 1990, с.266) указывала на повторяемость всего происходящего, которая при всех перипетиях до самого Страшного Суда не сможет привести в этот мир ничего принципиально нового. В то же время Фортуна – во всяком случае у Боэция – как символ несоизмеримости могла служить доказательством существования Бога. С обеих указанных точек зрения представлялось возможным, что счастье или несчастье, вторгаясь в контекст событий человеческой жизни, проясняли их смысл именно благодаря тому, что производили впечатление неимманентных этому контексту. Двулика Фортуна открывала простор для всех возможных историй, за ее богатым праздничным столом было место для всех веков (Грасиан, 1981, с.264). Именно ее многоликость создавала всегда равные предпосылки для земных событий и их описания. Фортуна, так сказать, принадлежала учению об "историях" (Geschichten), воззрению на историю (Historik), а не повествованием о ней (Historien). С ее помощью история (Historie) могла возвыситься до создания канонов. До тех пор Фортуна поддавалась лишь теологическому или морально-философскому, но не историческому осмыслению: как только ей давали эмпирическое или прагматическое толкование, она превращалась в чистую случайность.

Проблема исторической случайности в методическом плане возникла лишь тогда, когда место провидения заняли причины. Однако для объяснения чудес – и даже случаев – их было недостаточно. Затем возникла потребность в определенном рода исторически имманентных основаниях, в чем-то вроде психологических или прагматических cause [причин (лат.) – *Прим. пер.*], которые обособливали старую Фортуну и тем самым придавали случайности значение проблемы. Здесь знаменитый нос Клеопатры, изменивший, согласно Паскалю, облик мира (Паскаль, 1974, с.147), заглядывает из одной эпохи в другую: случайность уже становится имманентной причиной, из которой могут быть выведены великие последствия. Именно в силу своей незначительности и непритязательности случайность превращается в causa. Так, Фридрих II* в своем "Антимакиавелли" выводит Утрехтский сепаратный мир из пары перчаток, которые опрометчиво заказала себе герцогиня Мальборо (Frédéric le Grand, 1848, p.151).

В XVIII в. целое историческое направление опиралось на подобные доказательства – будь то "Очерк великих событий, вызванных незначительными причинами", написанный Рише [Richer] в 1758 г., или объяснение межгосударственных конфликтов интригами фавориток, или – как у Вольтера – опустошения Европы в Семилетней войне самолюбием двух или трех личностей (Brumfitt, 1985, p.105ff). Случайность здесь уже целиком состоит на службе тех обоснований, которые приводит историк-моралист. Так писал, например, Дюкло о политике Людовика XIV: "Наблюдая наши несчастья, можно увидеть, что мы должны их полностью приписывать самим себе и, напротив, за свое спасение благодарить лишь случай" (Duclos, 1792, p.15). Случайность отныне рассматривается как следствие отсутствия морального или рационального поведения, которое должно быть присуще

* Фридрих II (1712–1786) – прусский король из династии Гогенцоллернов. – *Прим. пер.*

хорошей политике. Конечно, в таких случаях возможен счастливый исход, но тогда это лишь удачная подмена поддающейся рационализации политики.

"Судьба и случай – слова без смысла", – утверждал молодой Фридрих II (Frédéric le Grand, 1848, p.149); они родились в головах поэтов и своими истоками обязаны глубокому невежеству мира, который действия неизвестных причин обозначил неопределенными названиями (des noms vagues). Например, несчастье (l'infortune) Катона основывается лишь на непредсказуемости быстро сменяющихся друг друга причин и действий, которые принесли с собой неблагоприятные времена (contre-temps) и предупредить которые он поэтому уже не мог. Фридрих старался создать модель политической системы, позволяющую ему поставить на службу своим планам все обстоятельства его времени. Однако, отправив в отставку старую Фортуны Макиавелли, Фридрих был не в состоянии совершенно обойтись без того, что обозначало это понятие. Ее место заняли категории времени (temps и contre-temps), но их поле действия рационально ограничивалось вопросами о причинах и намерениях. Отдельный случай оказывался клубком причин, он превращался в просто имя без реальности, и потому еще следует объяснить, остроумно добавляет Фридрих, отчего "Счастье" и "Случай", единственные из языческих богов, дожили до наших дней; правда, этот пассаж Вольтер вычеркнул из корректур его рукописи (Frédéric le Grand, 1848, p.285)

До какой степени случайность исчезла из представлений просвещенного историка, а где она все же – в силу ситуации или же в интересах повествования – навязала свое присутствие, более подробно будет показано далее на примере Й.Архенгольца.

II

Фон Архенгольц, бывший некогда капитаном прусской королевской армии, принадлежит к наиболее читаемым историкам второй половины XVIII в. и к числу авторов таких "описаний нравов", которые можно расценивать как прообраз современной социологии. Так вот, в своей популярной книге о Семилетней войне Архенгольц нередко прибегает к понятию случайности. Тем самым – если исходить из нашей постановки вопроса – мы можем подозревать его в том, что он совершает недозволенный для последовательной композиции исторического материала экскурс в область внеисторических понятий для того, чтобы изящно завуалировать недостаток доказательств в своем повествовании. Рассмотрим три из приведенных Архенгольцем случаев. В самом начале, при описании пресловутой коалиции обоих католических дворов – венского и версальского, – которая, как казалось, поставила с ног на голову всю прежнюю политическую систему Европы (и, кстати, по своим шокирующим результатам не лишена была сходства с союзом между Гитлером и Сталиным 1939 г.), читаем: "Это объединение Австрии и Франции, повергшее мир в изумление и почитавшееся величайшим политическим шедевром, было чистой случайностью" (Archenholtz, 1791, S.2ff). Ибо – так комментирует Архенгольц эту случайность – Франция вовсе не вынашивала намерения уничтожить короля Пруссии, как бы ни была она

раздражена его договором с Англией и какими бы подстрекательствами против него ни занимался в Париже Кауниц. "Главный план", который и был истинной причиной вступления Франции в союз с Австрией, заключался в том, чтобы "покорить курфюршество Ганновер и тем самым повысить шансы осуществления своих далекоидущих целей в Америке". Таким образом, назван мотив, приведенный в качестве решающего и в мемуарах Фридриха, и расцениваемый в качестве центрального также последующей историографией. Он действительно характеризует те глобальные взаимосвязи, в которые включена Семилетняя война и которые позволяют считать ее первой из мировых войн на нашей планете.

Так что же такое случайность, которую Архенгольц вводит здесь в игру? Он отчетливо видел глобальную взаимозависимость, внутри которой коалиция осуществляла свои политические задачи. Но то, что на взгляд из Версаля являлось "главным планом", было для прусского читателя "чистой случайностью". Для французского министерства (но не для Помпадур) коалиция в первую очередь была направлена против Англии, борьба с которой шла за господство над заокеанскими территориями. То, что с точки зрения многовековой внутриевропейской политики равновесия представлялось абсурдным, случайным, приобретало смысл, будучи рассмотрено в глобальном плане.

Случайность, таким образом, была здесь для Архенгольца не только стилевым приемом, призванным усилить драматизм повествования – чем она, безусловно, тоже являлась, – но и служила для обозначения определенной точки зрения. Это была точка зрения современника, и как современник – и участник – великой войны он и писал ее историю. Он с полным основанием вводит здесь для читателя-центральноевропейца случайность во всей мощи ее немотивированности, – чтобы затем все же мотивировать ее с высоты позиции историка. Но обоснование вытекает из других каузальных цепочек, отличных от движущих причин, знакомых предполагаемому читателю. Таким образом приведенное Архенгольцем событие оказывается как случайным, так и мотивированным. Историки последующих столетий, например Ранке, отказываются от столь непосредственной интерпретации; но историки позднего Просвещения как немногие другие умели культивировать историю не только как науку, но – именно ради распространения научных знаний – и как красноречивое повествование. Неполнота знаний немецких читателей и учитывается Архенгольцем – отсюда "чисто случайный" характер коалиции, – и в то же время восполняется, ибо историк 90-х годов XVIII в. уже старался, когда это возможно, отыскивать всемирно-исторические причины.

В какой связи находится изложенное с другим случаем, который Архенгольц приводит для объяснения исхода первой решающей битвы Семилетней войны? "Весьма обыденный случай, – пишет Архенгольц, – прогулка умного монаха, – в первые дни осады спас Прагу и (австрийскую) монархию. Этот небезызвестный в исторической литературе человек по имени Зетцлинг заметил клубы пыли, которые приближались к северной части города." (Archenholtz, 1791, S.40ff). Затем следует подробное описание того, как наш монах заподозрил появление пруссаков, как он поспешил в обсерваторию, посмотрев в подозрную тру-

бу, убедился в правильности своего предположения и в результате смог вовремя предупредить коменданта города. Благодаря этому решающая в тактическом отношении высота была занята еще до появления врага.

Наученный опытом прошлой дискуссии историков о пирронизме* взвешивать и сопоставлять историческую достоверность и вероятность Архенгольц, чтобы не дать повода для упреков в склонности к сочинительству романов, спешит скорее релятивировать эту случайность. Как факт он принимает ее всерьез, но лишь для того, чтобы тут же соизмерить ее с порядком сугубо военных параметров той войны: "В возможность, – продолжает Архенгольц, – захватить врасплох город, занятый армией из 50 000 опытных воинов, да еще среди бела дня, неслыханную в истории войн и непостижимую с точки зрения любого солдата, едва ли поверило бы нынешнее поколение, а потомки сочли бы это вымыслом."

Итак, Архенгольц переводит случайность, определившую исход Пражского сражения, в разряд сугубо военных возможностей, хотя она и проистекала из событий, не связанных с жизненным миром войны. При подходе к ней с такой меркой случайность меняет свое качество. С одной стороны, она становится событием, которое придает иронический оттенок противостоянию между католиками и протестантами в борьбе за Богемию. С другой стороны, это событие остается случайностью, если рассматривать его в контексте подпадающих рациональному анализу возможностей военной техники и армии того времени. Не объясняющая спасение Праги – иначе это означало бы, что Архенгольц воспринимает пражскую легенду как промысл Божий, на что он, как просвещенный прусский подданный, едва ли был способен, – случайность благодаря своему результату встраивается в убедительную взаимозависимость. Если рассматривать определившую исход битвы экскурсию нашего монаха под углом зрения ее результата, то она утрачивает свой случайный характер. Хотя Архенгольц учитывает факторы, проникающие извне в рационализируемую сферу причин и следствий тогдашних военных действий, однако, оценивая такие факторы как заменимые, косвенно он умаляет их значение. Автор дает нам понять, что если бы не это, так какое-то другое событие наверняка убергло бы Прагу от внезапного нападения. То, что им стала именно данная прогулка духовного лица, само по себе воспринимается как уникальная случайность, – но со стратегической точки зрения это событие несущественно.

Чтобы определить место случайности таким образом и фактически ее исключить, Архенгольц выстраивает две цепочки рассуждений: одна основана на данных о военных возможностях, другая прибегает к сравнению истории и поэзии. Старое Цицероново противопоставление между *res factae* [действительностью (лат.)– *Прим. пер.*] и *res fictae* [вымыслом (лат.)– *Прим. пер.*], со времен Исидора Севильского передаю-

* Пирронизм – учение древнегреческого философа Пиррона из Элиды (IV в. до н.э.), основателя античного скептицизма. По учению Пиррона, человек ничего не может знать о вещах, поэтому следует воздерживаться от суждений о них.– *Прим. ред.*

щеся от одного поколения историков к другому (Isidore of Sevilla, 1957, p.40ff), процитировано для того, чтобы вероятное – с точки зрения военных возможностей, – а не реально происшедшее объяснить, используя сопоставление с невероятным, с точки зрения военных возможностей, и в этом смысле "вымышленным"³. Не произошли случайность, это увело бы в область хотя и возможного и мыслимого, но в любом случае невероятного. Падение Праги произошло бы как бы абсурдным образом. Лишь тогда случайность была бы полной, невероятное стало бы событием.

О том, что подобный опыт не был чужд людям того времени, свидетельствует памятная монета, отчеканенная городом Кольбергом в 1760 г. после того, как он буквально в последнюю минуту был освобожден от осаждавших его 23 000 русских. Надпись на монете взята из Овидия: *res similis fictae*, "событие, подобное вымыслу", как переводит Архенгольц (Archenholtz, 1791, p.254). В сравнении с примером Кольберга еще раз становится ясно, что, собственно, значила для Архенгольца случайность, произошедшая в Праге. Прогулка медитирующего монаха опосредуется отнесением к военной истории. Случайность задним числом лишается своего случайного характера. Итак, Фортуна остается в игре. Правда, в ряду причин ей достается второстепенное место, хотя сначала казалось, что она – первое и единственное действующее лицо.

Монтескье в своем труде о величии и падении римлян приводит сколь простое, столь и рационально приемлемое объяснение этих обстоятельств. Все случайности остаются в подчинении у общих причин. "Если случайно проигранная битва, т.е. частная причина, погубила государство, то это значит, что была общая причина, приведшая к тому, что данное государство должно было погибнуть вследствие одной проигранной битвы. Одним словом, все частные причины зависят от некоторого всеобщего начала" (Монтескье, 1955, гл.18, с.128–129)⁴.

³ То, что внутреннее правдоподобие убеждает больше, чем реальность, – это аргумент, который со времен Аристотеля (не вполне бесспорно) ставил поэзию выше истории. Ибо поэзия имела дело с правдоподобием, а не с фактами. Архенгольц использует этот ход рассуждений, известный ему от Лессинга, чтобы поставить историю над поэзией при помощи классических аргументов поэтики: один из способов, которыми в XVIII в. осуществлялась переоценка истории и поэзии в пользу первой. См. об этом: Blumenberg, 1960, S.96–105.

⁴ Высказывание Монтескье было хорошо известно в XVIII в. (ср. Brumfitt, 1958, p.113). Архенгольц, несомненно, был знаком с этими рассуждениями, так как он перефразировал Монтескье в том смысле, что в новой истории не находится примера того, "чтобы с успешной обороной или потерей одного единственного города была бы связана судьба целой монархии" (Archenholtz, 1791, S.342). И поскольку стратегия Фридриха основывалась на движении, он мог позволить себе оставить важнейшую крепость своих владений, Магдебург, относительно неукрепленной. Захват ее врагами никогда не решил бы исхода всей войны. Позднее Ранке в своем сочинении о великих державах, опубликованном в *Historisch-Politische Zeitschrift*, Bd. II, высказывал предположение, что Семилетняя война от всех предшествовавших войн между государствами отличалась тем, "что в течение столь долгого времени существование Пруссии каждый момент подвергалось риску". Один неудач-

Кто однажды решился все объяснять причинами, тот всегда найдет какую-нибудь. Было бы, возможно, легкомысленно таким путем разделиться с ремеслом историка. Искусство Архенгольца состояло в том, чтобы позволить несоизмеримым величинам существовать рядом друг с другом и все же дать достаточно удовлетворительный в историческом смысле ответ. Так он описывал позднее осаду Бреслау 1760 г. У стен города расположилось 50 000 австрийцев под командованием способнейшего генерала Лаудона. В городе находилось 9 000 австрийских военнопленных, готовых, как и некоторые проавстрийски настроенные – горожане, к восстанию; число защитников составляло 3 000, из них лишь 1 000 кадровых солдат. И вот Архенголец называет успешную оборону происшествием, "которое, будучи совершенно достоянием истории, кажется философу проблемой, в то время как проницательный историк едва отваживается упомянуть о нем из-за его невероятности. Подобное чудо, продолжает он, могла сотворить лишь сила прусской военной дисциплины" (Archenholtz, 1791, S.241). Можно спорить по поводу такого обоснования чуда, приводить другие причины, чтобы еще более лишить это чудо его сверхъестественного характера, но тенденция ясна: чудеса, случайности и тому подобное упоминаются лишь мимоходом, чтобы сначала привлечь внимание обычного читателя, который всерьез ждет их от автора, а затем приобщить его к более глубокому размышлению.

И теперь последний пример, который мы наугад выхватили из "Истории Семилетней войны". Как поступает наш автор, чтобы объяснить падение Колина? "Не храбрость и военное искусство, а случайности решили исход этого достопамятного дня." Наоборот, в битве при Лейтене, как сказано позднее, победу обеспечили только "храбрость и военное искусство" (Archenholtz, 1791, S.44, 98). Здесь, видимо, прусская национальная гордость старого солдата прорывается наружу, и без лишних слов очевидно, что случайность выведена на поле битвы при Колине из апологетических соображений. В ходе дальнейшего изложения Архенголец объясняет отдельные случаи, приключившиеся на поле битвы; тактически она была, как известно, проиграна, потому что растянутая линия армии Фридриха была прорвана и из-за превосходства австрийцев он не мог бросить резерв в зияющий прорыв. Прорыв линии фронта Архенголец объясняет сутобо психологическими причинами. Вопреки приказу короля в атаку пошли части, которые должны были подождать с выступлением: в результате солдаты вступили в схватку по всей линии, вместо того чтобы постепенно подходить на помощь атакующему флангу.

ный день мог бы привести ее к гибели. И на свой же встречный вопрос о том, какие общие причины все же воспрепятствовали низвержению Пруссии, Ранке отвечал: то, что Фридрих не стал добычей гедонистической философии французов. "Фридрих сам для себя устанавливает правила; опорой ему служит его собственная истина. Главная причина его успеха в верности собственной морали". Не касаясь вопроса о том, верно или нет это наблюдение, можно сказать, что у Ранке антитеза между общими причинами и случайностью растворяется в понятии индивидуальности. – О дальнейшем развитии поставленной Монтескье проблемы соотношения закономерности и случайности у Маркса и Троицкого см. Carr, 1964, p 101–102.

Итак, на "безрассудство и воинственный пыл" младших командиров возлагается ответственность за произошедшую случайность. Здесь наш автор должен был бы спросить себя, не суть ли это воинские качества, т.е. все же не плохое ли военное искусство и ложная храбрость привели к поражению. Старый Фридрих в своих позднейших сочинениях никогда не обращался к случайности, чтобы приукрасить свои поражения. Он всегда указывал на отдельные ошибки, которые приводили к крушению его планов, и лишь свои собственные ошибки случайно замалчивал. Поражение при Колине он свел к тактическим просчетам своих генералов, действовавших вопреки приказу. Таким образом, в третьем случае, с которым мы познакомились у Архенгольца, вопрос о причинах утрачивает четкость, присущую двум первым, причем автор делает это неосознанно, хотя и пользуется известным ему методом.

Подведем итог: в первом случае, с договором о союзе между Францией и Австрией, случайность была проблемой точки зрения. Абсурдный по континентально-европейской мерке, новый и неожиданный франко-австрийский союз со всемирно-исторической точки зрения предстает как разумный. Второй случай – прогуливающийся монах – возникает из иной зоны мотивации, чем исход битвы при Праге. Их совпадение, строго говоря, случайно. Перенесенный на уровень стратегической возможности, этот случай поддается, однако, рациональной оценке, которую он и получил; случайность исчезла в общей перспективе. Не так обстоит дело с третьим примером. Здесь "случайность" – лишь вовремя подвернувшееся из патриотических соображений слово, которое призвано заглушать и, соответственно, умалить превосходство австрийцев и принизить значение атаки саксонцев, решившей исход битвы. Психологические категории, к которым попутно прибегает Архенголец, по существу относятся к тому же уровню доказательств. Поскольку речь идет здесь о несчастливой случайности, дальнейшие объяснения и, соответственно, упреки в собственный адрес, естественно, должны быть пресечены. Как сказал Гиббон: "Греки, после того как их страна низведена была до положения провинции, приписывали триумф Рима не заслугам республики, а ее удачливости" (Цит. по: Carr, 1964, p.99).

Наши сегодняшние рассуждения о том, сколь осмысленно Архенголец сумел включить в исторический контекст две случайности, в то время как третья была притянута как формула маскировки лично им сопережитого несчастья, разумеется, возможны лишь потому, что в XVIII в. "случайность" была подвергнута теоретической деструкции. Мы уже привлекли в качестве главных свидетелей Гиббона и Монтескье, мы можем процитировать и самого Фридриха II. Под ужасным впечатлением проигранного сражения при Колине, которое, как он предполагал, могло стать его Полтавой, он писал своему другу маршалу Кейту, что "Фортуна" покинула его. "Счастье в эти дни повернулось ко мне спиной. Я должен был предполагать это, она – баба, а я не галантен. Она на стороне женщин, которые ведут со мной войну". И в 1760 г. он писал маркизу д'Аржану, что не может управлять счастьем, что должен все больше учитывать случайности, поскольку не имеет средств самостоятельно осуществлять свои планы. Этим последним, также частным высказыванием он не отказывается от политической

системы координат, которую сформулировал в "Антима-киавелли" и к которой он столь охотно проявляет ироническое пренебрежение, например, в своем письме к Кейту.

В своих военно-исторических мемуарах Фридрих II, насколько я могу судить, последовательно отрекается от "счастья", которое, если не вполне придерживаться научной лексики, вообще-то ему улыбалось. В мемуарах рационально и последовательно просчитываются ошибки и успехи в планах и действиях военных противников. Точкой пересечения в этих расчетах становится действие и его результат; результат, который, однако, почти никогда не совпадал с первоначальными планами одного из действующих лиц. Так, уже вследствие своего рационализма Фридрих пришел к представлению, что история всегда обнаруживает или больше, или меньше того, что содержалось в сумме ее предварительных данных. И таким образом Фридрих уже делает шаг через чисто каузальное объяснение к тому, что в XIX в. можно обозначить как "понимающую" историческую школу [verstehende historische Schule].

III

Историческая школа XIX в. не оставила и следа от случайности. Как будет показано в заключении, это произошло не столько в результате последовательного распространения принципа каузальности, сколько благодаря теологическим, философским и эстетическим импликациям современного понятия истории. Чтобы пояснить сказанное, обратимся еще раз к Архенгольцу.

Выше было показано, сколь умело Архенголец рационализировал случайность до стилистического понятия, отражающего ту или иную точку зрения, чтобы освободить пространство для причинных связей. Однако и у него старая Фортуна в одном примечательном месте выходит на поле боя, и в историческом смысле непревзойденно: речь идет о смерти императрицы Елизаветы в 1762 г. В драматической каденции смерть предстает как судьба. Если Фридрих в своей истории Семилетней войны лишь отмечает, что эта смерть опрокинула все планы и соглашения политиков, а Ранке позднее указывал на то, что эта смерть только обнажила, сколь незначительная "внутренняя необходимость" была присуща существовавшему до того "сочетанию обстоятельств" (Ranke, o.O.u.D), то Архенголец выводит смерть как властительницу судьбы. Он называет произошедшие благодаря ей перемены "величайшим благодеянием Фортуны", спасшим Фридриха и Пруссию от гибели (Archenholtz, 1791, S.350). Здесь Архенголец использует старое понятие Фортуны, которая не имманентна событиям, а господствует над ними. Оно не является стилистическим приемом рационализации, а обозначает вторжение естественных возможностей в ход всесторонне спланированных военных событий. Здесь Фортуна не является суррогатом причинности, она идет впереди событий. Таким образом, Архенголец отдает дань традиции, которую он разделял с гуманистами и христианскими историками: а именно, что история течет в естественном русле и что вмешательство Фортуны возвращает исторические события к внеисторическим условиям их совершения.

Хотя в те времена вероятность смерти властителей повсеместно принималась в расчет, на нее нельзя было повлиять с помощью какого-либо рассудочного планирования (разве что посредством яда или кинжала). Она ускользала от прагматической *causae* даже тогда, когда ее возможные последствия вновь и вновь вычислялись и планировались, как, например, в "Прагматической санкции" 1713 г. Вопросы наследования престола были причиной войн и содержанием дипломатической деятельности; политический горизонт будущего ограничивался возможной продолжительностью жизни царствующей особы⁵. Так что, когда Архенгольц в этом, все еще естественном, историческом пространстве призывает Фортуны, он не нарушает целостности стиля.

При всей своей современности Архенгольц жил в континууме, охватывавшем всю предшествующую историю, и в своих повествованиях он постоянно ссылается на события и деяния давних времен, чтобы сравнить их с событиями и деяниями Семилетней войны. Параллели, которые он проводил, не служили какому-либо историко-философскому толкованию всего происходящего, они покоились на молчаливо признаваемой идентичности исторических условий вообще; Фортуна же задавала масштаб сопоставлениям и умозаключениям, в которых Фридрих, Ганнибал или Александр воспринимались как возможные современники, а битвы при Каннах и Лейтене как аналогичные события (Archenholtz, 1791, S.47, 174, 328, 350, *passim*.)

Амбивалентность, с которой Архенгольц, с одной стороны, доводами разума уничтожает случайность, а с другой – сохраняет Фортуны, свидетельствует об огромном расстоянии, отделяющем его от исторической школы. Гумбольдт, теоретически проложивший ей путь, не оспаривал тезис XVIII в., что *всю мировую историю в прошлом и будущем можно как бы рассчитать, используя принцип каузальных связей*. При этом возможная точность оценок определена объемом наших знаний о действующих причинах. При таком подходе случайность исключается, и тем самым, как считал Гумбольдт, у истории отнимается ее своеобразие. Историю отличало то, что было всегда новым и неизведанным, творческие индивидуальности и внутренние силы, и, хотя их взаимосвязь обладала внешней последовательностью, каждое явление в своей собственной однократности и направленности никогда "не могла быть выведено из сопутствующих обстоятельств" (Humboldt, o.D.1, S.24; o.D.2, S.18). Внутренняя целостность истории и ее единичность не поддаются каузальному выведению (в этом содержался прогрессивный момент исторического взгляда на мир) и потому не остается места ни Фортуны как символу возвращения всего на круги своя, ни случайно-

⁵ О том, до какой степени в наше время исключена и эта возможность естественного возникновения случайности, свидетельствует параллель, которую национал-социалистическая пропаганда в 1945 г. проводила между смертью Рузвельта и смертью императрицы Елизаветы в 1762 г., пытаясь с помощью историко-идеологических средств найти выход из безвыходного положения. Однако смерть Рузвельта не могла повлиять на исход второй мировой войны. Героические личности больше ничего не значат. Вместо них права гражданства обрели исторические структуры, которые оставляют все меньше места для старой Фортуны не только в литературном смысле, но и фактически.

сти, ибо однократность случайности уже растворена в однократности "истории как таковой".

Гумбольдт владел новым пониманием истории и дал ей такое определение, которое сделало возможным самосознание историзма в будущем. История в ее неповторимости поглотила случайность. Или, иными словами, если каждая история в своей неповторимости превосходит все причины, цитированные выше, то и случайность как акцидентная причина теряет свою историческую важность (Gadamer, 1971, S.61).

Когда Лейбниц дал определение двух родов истины – истины разума, которая не терпит противоречий, и истины фактов, которые хотя и достаточно обоснованы, но все же их противоречивость остается допустимой, – то с помощью *vérités de fait* [истин факта.– *Прим. пер.*] он описал область того, что позднее было определено как "история". Исторические факты как прошлого, так и будущего суть возможности осуществившиеся или долженствующие осуществиться, исключаяющие настоятельную необходимость. При всей их обоснованности факты остаются случайными [kontingent]*, они возникают в пространстве человеческой свободы. В этом смысле как прошедшее, так и грядущее всегда случайно; но цепь "случайностей" в развитии мира имеет для Лейбница свою неповторимую достоверность, задуманную и сохраненную в божественном плане наилучшего мира. В соответствии с требованием теодицеи и случайные – исторические – события проявляются как необходимые не в смысле геометрического доказательства, но как "необходимые лишь по предположению и, так сказать, косвенно" (Лейбниц, 1982, гл.13, с.136).

Случайность, как формулировали позднее, проявляется с более широкой точки зрения как историческая необходимость. С тех пор отсутствие причинной обусловленности уже не скрывается с помощью случайности, но как бы априорно исключается из теории новой истории, существовавшей на протяжении всего XVIII в. Философия истории нового времени опиралась на теологему единичности всего земного с учетом существования Бога и эстетическую категорию внутреннего единства истории, которые абсолютизировали современное понятие "истории". Так, Виланд мог в 1770 г. говорить о "тысяче неизбежных случайностей", которые толкают род человеческий на необратимый путь бесконечного совершенствования (Wieland, 1875, S.311). Так, Кант мог описывать коварство природы, которое предвосхищает Гегелево "коварство разума", в силу которого все, что кажется случайным, обладает собственным смыслом. Как писал Гегель, "цель философского наблюдения состоит именно в том, чтобы удалить случайное. Случайность есть то же самое, что внешняя необходимость, т.е. необходимость, которая восходит к причинам, которые сами суть лишь внешние обстоятельства. Мы должны отыскивать в истории всеобщую цель, конечную цель мира". Этот пассаж показывает, сколь далеко Гегель ушел от рационализации случайности в том ее виде, в каком она существовала в предыдущем столетии, и насколько последовательнее

* Контингенция лучше всего может быть определена не как случайность, но как не-необходимость, т.е. не контрарно, а контрадикторно противопоставленная необходимости модальность.– *Прим. ред.*

концепция телеологического единства мировой истории исключает случайность, чем это когда-либо было возможно для Просвещения. "В историю должно привнести идею и веру в то, что мир воли не предоставлен на усмотрение случайности" (Hegel, 1955, S.29).

Не только богословское наследие исключало всякую случайность из идеалистического понятия истории. Казавшуюся бессмысленной случайность вытеснили литературные и эстетические принципы, которые требовали от повествовательного искусства историографии внутренне правдоподобия и тем самым высокой насыщенности реальными фактами. Новалис, обобщая суть проходившей тогда дискуссии, писал в 1799 г., что нагромождение отдельных дат и фактов, над которым повсеместно усердствуют историки, "ведет к забвению того, что более всего достойно изучения, того, что только и делает историю историей и связывает разрозненные случаи в увлекательное и поучительное целое. Когда я всерьез обдумываю это, мне представляется, будто историк непременно должен быть и поэтом" (Novalis, 1960, S.259).

Историческая школа восприняла как от поэтики, так и от идеалистической философии импульсы, в силу которых и та, и другая рассматривали историю – независимо от исторических событий – как имманентное смысловое единство и осмысливали ее с позиции науки. Если все события становятся однократными, "каждая эпоха стоит в непосредственном отношении к Богу" (Ранке, 1898, с.4) и тогда не чудо исчезает, а скорее вся история становится одним единственным чудом. "Пусть другие измеряют и взвешивают, наше дело – теодицея... Мы учимся молиться", – как писал Дройзен (Droysen, 1929, S.282). Тем самым случайность лишается свободы быть случайной.

Было бы досужим занятием отделять друг от друга богословское, философское или эстетическое влияния, которые слились в исторической школе: с точки зрения нашей постановки вопроса достаточно придерживаться вывода, что все они действуют совместно в таком понятии истории, которое совсем не допускает условий для возникновения случайности.

Эстетический компонент историзма препятствовал использованию такого способа объяснения, как случайность, вне рамок ее изначально телеологических обоснований. Удовлетворяло ли это потребностям исторического познания, и в большей ли степени, чем прежде, когда в игре еще участвовала Фортуна, – этот вопрос сегодня должен быть поставлен вновь. Возможно, тогда обнаружится, что именно исключение всякой случайности предъявляет слишком высокие требования к состоятельности исторического исследования, поскольку в мире исторической неповторимости случайность в результате устранения всего случайного оказалась возведена в абсолюте. То, что в эпоху предисторического понимания истории относилось к компетенции Фортуны, в новое время становится идеологией, которая заставляет прибегать ко все новым манипуляциям, позволяющим представить случайность в облачении неотвратимой закономерности.

ЛИТЕРАТУРА

- Августин.** О граде Божием. В: Творения блаженного Августина, епископа гиппонийского. 2-е изд. Киев, 1906, кн. 1–7.
- Бозций.** Утешение философией и другие трактаты. М.: Наука, 1990.
- Грасиан Б.** Критикон. В: Б.Грасиан. Карманный оракул. Критикон. М.: Наука, 1981, с.67–495.
- Монтескье Ш.Л.** Размышления о причинах величия и падения римлян. В: Ш.Л.Монтескье. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955, с.49–156.
- Лейбниц Г.В.** Рассуждения о метафизике. В: Г.В. Лейбниц. Сочинения: В 4-х т. Т.1. М.: Мысль, 1982, с.125–163.
- Паскаль Б.** Мысли. В: Ф. де Ларошфуко. Максимумы.– Б.Паскаль. Мысли.– Ж. де Лабрюйер. Характеры. М.: Художественная литература, 1974, с.109–186.
- Ранке Л.** Об эпохах новой истории. Лекции, читанные баварскому королю Максимилиану II. М., 1898.
- Archenholtz J.W. von.** Geschichte der Siebenjährigen Krieges. Halle; Saale, 1791.
- Aron R.** Introduction à la philosophie de l'histoire. Paris, 1948.
- Blumenberg H.** Paradigmen zu einer Metaphorologie. Bonn, 1960.
- Brumfitt J.H.** Voltaire, Historian. Oxford, 1958.
- Carr E.H.** What is History? Harmondsworth, 1964.
- Droysen J.G.** Briefwechsel. Leipzig, 1929, Bd.II.
- Duclos C.** Geheime Memorien. Berlin, 1792, Bd.I.
- Gadamer H.G.** Kritische Rezension // Philosophische Rundschau, 1971, Jg.18.
- Frédéric le Grand.** Œuvres. Berlin, 1848, t.VIII.
- Hegel G.W.F.** Die Vernunft in der Geschichte. Hamburg, 1955.
- Heitmann K.** Fortuna und Virtus, eine Studie zu Petrarca's Lebensweisheit. In: E.Schalck und M.Marianelli (Hgs.). Studi Italiani. Bd.I. Köln; Graz, 1958.
- Humboldt W. von.** Über die Aufgabe des Geschichtschreibers. Leipzig, o.D.1.
- Humboldt W. von.** Über die bewegenden Ursachen der Weltgeschichte. Leipzig, o.D.2.
- Isidore of Sevilla.** Etymologiarum sive originum libre XX. Oxford, 1957, v.I.
- Jansen H.** Die Grundbegriffe des Baltasar Gracian // Kölner Romanistische Arbeiten. Neue Folge. Genève; Paris, 1958, H.9.
- Kühler E.** Der literarische Zufall und die Notwendigkeit. München, 1973.
- Lammers W. (Hg.).** Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter. Darmstadt, 1961.
- Novalis.** Heinrich von Ofterdingen. In: Novalis. Schriften. 2. Aufl. 1960.
- Otto von Freizing.** Chronica sive Historia de duabus Civitatibus. Darmstadt, 1960.
- Pickering F.P.** Literatur und darstellende Kunst im Mittelalter. In: H.Moser (Hg.). Grundrissen der Germanistik. Bd.4. Berlin, 1966.
- Ranke L. von.** Friedrich der Grosse. In: Allgemeine deutsche Biographie, o.O.u.D.
- Zedler.** Universalexikon. Halle; Leipzig, 1735, Bd.9.
- Zincgref.** Emblematum Ethico-Politicorum Centuria. Heidelberg, 1666.
- Weiland C.M.** Über die Behauptung, daß ungehemmte Ausbildung der menschlichen Gattung nachteilig sei. In: Sämtliche Werke. Bd.29. Leipzig, 1857.